

Мы разбили лагерь в оазисе. Мои спутники спали. Один араб, высокий и весь в белом, прошел мимо меня; он накормил верблюдов и сам шел сейчас ложиться.

Я упал спиной в траву. Я хотел заснуть, но не мог; жалобный вой шакала раздался вдали; я снова приподнялся и сел. И то, что было так далеко, вдруг приблизилось. Свора шакалов вокруг меня; глаза, сверкающие и затухающие матовым золотом; поджарые тела, закономерно-проворно перебегающие туда-сюда, словно под ударами кнута.

Один приблизился сзади, притиснулся под мою руку, вплотную ко мне, словно нуждался в моем тепле, затем встал передо мной и молвил, глядя мне почти глаза в глаза:

— Я старейший шакал в этих местах. Я счастлив приветствовать тебя здесь. Я уже почти потерял надежду, ибо мы бесконечно долго ждали твоего прибытия; моя мать ждала и мать моей матери и далее все ее матери вплоть до праматери всех шакалов, поверь мне!

— Меня это удивляет, — сказал я и забыл поджечь дрова, лежавшие наготове, чтобы дымом держать шакалов на расстоянии. — Меня очень удивляют твои слова. Я всего лишь случайный путник с далекого Севера и мое путешествие коротко. Что вам надобно, шакалы?

И словно ободренные этим, быть может, чересчур дружеским обращением, они теснее сомкнули вокруг меня свой круг; все дышали часто и шумно.

— Мы знаем, — начал старейший, — что ты с Севера, на этом-то и построена наша надежда. Там у вас правит разум, которого не сыщешь здесь, у арабов. Из этого холодного высокомерия, знаешь ли, не высечь ни искры разума. Они убивают животных, чтобы есть их, и презирают падаль.

— Прошу тебя, не так громко, — сказал я, — рядом с нами спят арабы.

— Ты в самом деле из других краев, — молвил шакал, — иначе бы ты знал, что никогда еще в мировой истории шакал не боялся араба. Нам их бояться? Разве то, что мы оказались выброшенными в этот народ, уже само по себе не достаточное горе?

— Может быть, — сказал я. — Я не берусь судить о вещах, которые от меня так далеки. Видимо, это очень давний спор; то есть, это, наверное, уже в крови; значит, наверное, только кровью и кончится.

— Ты очень умен, — сказал старый шакал, и все задышали еще чаще, раздирая свои легкие, хотя и стояли смирно. Смердный запах, который порой можно было вынести только стиснув зубы, изторгся из их открытых пастей. — Ты очень умен; то, о чем ты говоришь, перекликается с нашим старым учением: то есть, мы возьмем их кровь и спор будет решен.

— О! — вырвалось у меня резче, чем я хотел, — они будут защищаться; своими ружьями они перебьют вас стая за стаей.

— Ты нас не понял, — сказал он, — мы будем действовать по вашему способу, который не отказывает у вас там, на далеком Севере. Мы не будем убивать их. В Ниле не хватит воды, чтобы смыть с нас тогда всю кровь. Ведь уже только завида их живую плоть, мы убегаем прочь, к более чистому воздуху, в пустыню, которая поэтому и стала нашим домом.

И все шакалы кругом, ряды коих за это время значительно пополнились, положили на землю свои головы и стали теребить их передними лапами. Было такое впечатление, как будто они желали скрыть этим свое отвращение, которое было настолько ужасным, что больше всего мне хотелось выскочить большим прыжком из их круга.

— И что же вы собираетесь делать? — спросил я и хотел было встать, но не мог; два молодых шакала крепко вцепились мне сзади в сюртук и рубашку; мне пришлось остаться сидеть как сидел.

— Они поддерживают твой шлейф, — пояснил старый шакал серьезно. — В знак уважения.

— Скажи им, чтобы они меня отпустили! — вскричал я, поворачиваясь то к старику, то к молодым.

— Конечно, отпустят, — сказал старый шакал, — по первому же требованию. Но тебе придется немного подождать, потому что по обычаю они ухватились за твою одежду железной хваткой и смогут лишь постепенно ослабить свои челюсти. А пока выслушай нашу просьбу.

— Ваши манеры не очень-то располагают меня к этому, — ответил я.

— Не держи на нас зла за эту неуклюжесть, — сказал он и в первый раз прибегнул к жалобным ноткам в своем до этого нормально звучавшем голосе. — Мы бедные звери, у нас есть только наши челюсти; для всего, что мы хотим сделать, для хорошего и плохого, нам даны только наши челюсти, больше ничего.

— Хорошо, чего ты хочешь? — спросил я, успокоившись лишь наполовину.

— Господин! — воскликнул он и все шакалы взвыли; где-то далеко-далеко мне даже как будто почудилась мелодия. — Господин, ты должен положить конец спору, расколотшему мир на две половины. По описаниям наших предков, ты похож на того, кто это сделает. Нам нужно освободиться от этих арабов; нам нужен воздух, которым можно было бы дышать; нам нужен свободный, не засоряемый их присутствием вид во всю ширь горизонта; нам не нужны жалобные крики ягнят, которых режет араб, пусть вся живность дохнет мирно, а мы безмятежно будем пить ее кровь и очищать ее до самых костей. Чистоты, нам не надо ничего, кроме чистоты! — тут все принялись рыдать и всхлипывать. — Как ты только можешь находиться в этом мире, ты, благородное сердце и сладкий потрох! Грязь — это их

белое, грязь — это их черное, их бороды — один сплошной ужас; плеваться хочется от вида их глазниц и когда они поднимают руку, в их подмышке разверзается ад. Поэтому, о господин, о дорогой господин, перережь с помощью твоих всесильных рук этими ножницами их ненавистные глотки! — и на призывающее движение его головы ко мне подбежал шакал, который нес на одном из клыков маленькие, покрытые старой ржавчиной швейные ножницы.

— Дошли до ножниц, наконец-то, и на этом всё! — раздался вдруг крик араба-предводителя каравана, подкравшегося к нам против ветра и размахивавшего сейчас своим огромным кнутом.

Все шакалы поспешили разбежаться, однако остановились потом на некотором удалении, тесно сбившись в кучу — это скавшееся и онемевшее звериное множество, похожее на скот в узком загоне в мерцании блуждающих огоньков.

— Ну вот, господин, ты и побывал на этом спектакле, — сказал араб и рассмеялся так весело, как это только позволяли ему сдержанные традиции его племени.

— Значит, ты знаешь, чего хотят эти животные? — спросил я.

— Конечно, господин, это же всем известно. Пока существуют арабы, эти ножницы кочуют по пустыне и будут кочевать с нами до скончания веков. Каждому европейцу их предлагают для свершения великого деяния и каждый европеец кажется шакалам их избранником. Безумную надежду лелеят эти животные. Глупцы, настоящие глупцы! Поэтому мы их любим; это наши собаки, они лучше ваших. Смотри-ка сейчас — ночью у нас умер верблюд, я велел принести его сюда.

Четыре носильщика приволокли тяжелую тушу верблюда и бросили ее перед нами. Не успела она упасть, как шакалы подняли свои голоса. Словно притягиваемые каждый поодиночке неумолимой веревкой, подходили они, запинаясь, волоча брюхо по земле. Они забыли арабов, забыли свою злобу — всеуничижающее присутствие мертвого тела, выделяющего сильные испарения, околдовало их. И вот уже один впился туша в шею и первым рывком своих челюстей нашел на ней артерию. Точно маленький пульсирующий водяной насос, который рьяно и в равной степени безнадежно борется с исполинским пожаром, бился и дрожал каждый мускул шакала в его неудержимом порыве. И все остальные уже высоко сгрудились на туше за тем же занятием.

Тут караванщик со всего размаха хлестнул по ним своим жестким кнутом крест-накрест. Они подняли головы, в полуопьяненном-полуобморочном состоянии, увидели стоявших перед ними арабов, почувствовали сейчас кнут своими мордами, отпрыгнули и попятились назад. Но верблюжья туша уже была в нескольких местах глубоко разорвана, кровь из нее растекалась лужей и дымилась. Они не могли устоять, они снова приблизились и снова караванщик поднял кнут. Я схватил его за руку.

— Ты прав, господин, — сказал он, — пусть они остаются за своим занятием, к тому же нам пора трогаться. Теперь ты их видел. Замечательные животные, не правда? И как они нас ненавидят!